*Ничто так не сближает людей, как безобидный смех. - Л. Толстой*

*Смех прогоняет зиму с человеческого лица. - В. Гюго*

*Смех благоприятствует пищеварению и ободряет жизненную силу. - Х. Гуфеланд*

*Веселый человек создает себе веселый мир, мрачный человек создает себе мрачный. - С. Смайлс*

### Смех – это спасательный круг на волнах жизни. - Ф. Рабле

*Никогда не шутите иначе как с умными людьми. - П. Буаст*

*Смех – это продукт равнодушия, спокойствия души, и он же – сильнейшая эмоция, имеющая выраженное “общественное значение”.*

*Смех – дитя интеллекта, и он же бессознателен, неосознаваем в своих истоках.*

*Смех – родствен эстетике, и он же не умещается в ее границах.*

*Смех связан со злом, и он же есть благо и дарит благо.*

*А. Бергсон*

 Человек рождается на свет, чтобы смеяться. Мы, люди, можем злиться, как собаки, быть ласковыми, как кошки, уставать, как лошади, но смеяться и улыбаться мы будем всегда только как люди. Природа вместе с разумом наделила нас удивительным даром – во всеуслышание заявлять миру о том, что нам хорошо жить на свете.

 1. ВИДЫ СМЕХА

Начнем с того, что поставим вопрос о видах смеха. Он уже ставился ранее. Однако беглый обзор существующих теорий комического дает не очень

утешительную картину. Поневоле спрашиваешь себя: нужна ли здесь вообще теория? Их было очень много. Стоит ли к многочисленным существующим теориям прибавлять еще одну? Может быть, такая теория не более как игра ума, мертвая схоластика, бесполезная в жизни философема?

Первый и основной недостаток всех существующих теорий (особенно немецких) – это ужасающий абстракционизм, сплошная отвлеченность. Теории создаются безотносительно к какой бы то ни было реальной действительности. В большинстве случаев такие теории действительно представляют собой мертвые философемы, притом изложенные так тяжеловесно, что их иногда просто невозможно понять.

Говорят, например, что комичны недостатки людей. Совершенно очевидно, однако, что недостатки людей могут и не быть комичными. Нужно еще установить, какие именно недостатки и в каких случаях могут быть смешными и в каких нет.

Например, определения комического оказывались слишком широкими: под них подходили явления и некомические. Такую ошибку делали величайшие философы. Так Шопенгауэр утверждал, что смех возникает тогда, когда мы внезапно обнаруживаем, что реальные объекты окружающего нас мира не соответствуют нашим понятиям и представлениям о них. Перед его воображением носились, очевидно, случаи, когда такое несоответствие вызывало смех. Но он не говорит о том, что такое несоответствие может быть нисколько не смешным: когда, например, ученый делает открытие, которое полностью меняет его представление об изучаемом объекте, когда он видит, что до сих пор заблуждался, то открытие этого заблуждения (“несоответствия окружающего нас мира нашим понятиям”) лежит вне области комизма.

Та же самая отвлеченность была характерна и для многих смеховых классификаций. Однако здесь можно привести наиболее интересную попытку перечисления видов смеха, сделанную не философами и не психологами, а теоретиком и историком советской кинокомедии Р. Юреневым, который написал так: “Смех может быть радостный и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный, снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный и ободряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и грубый, многозначительный и беспричинный, торжествующий и оправдательный, бесстыдный и смущенный. Можно еще и увеличить этот перечень – веселый, печальный, нервный, истерический, издевательский, физиологический, животный. Может быть даже унылый смех!”

Этот перечень интересен своим богатством, своей яркостью и жизнеспособностью. Он получен не путем отвлеченных размышлений, но жизненных наблюдений. Автор в дальнейшем развивает свои наблюдения и показывает, что разные виды смеха связаны с различием человеческих отношений, а они составляют один из главных предметов комедии.

Если рассматривать одну из последних классификаций видов смеха, предложенную В. Проппом в его книге целиком посвященной разбору проблем комизма и смеха, то можно отметить, что существует 6 разных видов смеха, определенных в основном по психологической окраске. И прежде всего это смех ***насмешливый.***

Именно этот и только этот вид смеха стабильно связан со сферой комического. Достаточно, например, сказать, что вся огромнейшая область сатиры основана на смехе насмешливом. Этот же вид смеха чаще всего встречается в жизни. Если всмотреться в картину Репина, изображающую запорожцев, которые сочиняют письмо турецкому султану, можно увидеть, как велико разнообразие оттенков смеха, изображенного Репиным, - от громкого раскатистого хохота до злорадного хихиканья и едва заметной тонкой улыбки. Однако легко убедиться, что все изображенные Репиным казаки смеются одним видом смеха, а именно смехом насмешливым.

Смеяться насмешливым смехом можно над человеком почти во всех его проявлениях. Исключение составляет область страданий, что замечено было еще Аристотелем. Смешными могут оказаться наружность человека, его лицо, фигура, движения; комическими могут представляться его суждения, в которых он проявляет недостаток ума; особую область насмешек представляет характер человека, область его нравственной жизни, его стремления, его желания и цели. Смешной может оказаться речь человека как манифестация таких его качеств, которые были незаметны, пока он молчал. Короче говоря, физическая, умственная и моральная жизнь человека может стать объектом насмешливого смеха в жизни.

Исходя из наблюдений чисто количественного порядка, можно установить, что насмешливый смех встречается чрезвычайно часто, что это основной вид человеческого смеха и что все другие виды встречаются значительно реже. С точки зрения формальной логики можно чисто умозрительно прийти к заключению, что есть две большие области смеха или два рода их. Один включает в себя насмешку, другой этой насмешки не содержит. Такое распределение представляет собой классификацию по наличию и отсутствию одного признака. В данном случае она окажется правильной не только формально, но и по существу. Такое различие делается и в некоторых эстетиках. Лессинг в “Гамбургской драматургии” пишет: “Смеяться и осмеивать – далеко не одно и то же”. Можно, однако, установить, что резкой, четкой границы нет, что есть как бы промежуточные, переходные случаи, и к ним теперь надо обратиться.

Итак, смех возможен только тогда, когда недостатки, которые осмеиваются не принимают характера пороков и не вызывают отвращения. Все дело здесь, следовательно, в степени. Может оказаться, например, что недостатки настолько ничтожны, что они вызывают у нас не смех, а улыбку. Такой недостаток может оказаться свойственным человеку, которого мы очень любим и ценим, к которому мы испытываем симпатию. На общем фоне положительной оценки и одобрения маленький недостаток не только не вызывает осуждения, но может еще усилить наше чувство любви и симпатии. Таким людям мы охотно прощаем их недостатки. Такова психологическая основа ***доброго*** смеха.

В отличие от элементов сарказма и злорадства, присущих насмешливому смеху, мы здесь имеем мягкий и безобидный юмор. Термин “юмор”, - говорит Вульс, незаменим, когда автор на стороне объекта “смеха”. Юмор есть некоторое душевное состояние, при котором в наших отношениях к людям мы сквозь внешние проявления небольших недостатков угадываем положительную внутреннюю сущность. Этот вид юмора порождается некоторым благосклонным добродушием.

Объяснение доброго смеха помогает понять и определить его противоположность – ***злой*** смех. При добром смехе маленькие недостатки тех, кого мы любим, только оттеняют положительные и привлекательные стороны их. Если эти недостатки есть, мы их охотно прощаем. При злом смехе недостатки, иногда даже мнимые, воображаемые и присочиненные, преувеличиваются, раздуваются и тем дают пищу злым, недобрым чувствам и недоброжелательству. Таким смехом обычно смеются люди, не верящие ни в какие благородные порывы, видящие всюду одну только фальшь и лицемерие, мизантропы, не понимающие, что за внешними проявлениями хороших поступков кроются настоящие хорошие внутренние побуждения. Этим побуждениям они не верят. Благородные люди или люди с повышенной чувствительностью, с их точки зрения, - глупцы или сентиментальные идеалисты, заслуживающие только насмешек. В отличие от всех других рассмотренных видов смеха этот ни прямо, ни косвенно не связан с комизмом. Такой смех не вызывает сочувствия. Такой смех мнимотрагичен, иногда – трагикомичен. Хотя такой вид смеха не порожден комизмом, он сам по себе может оказаться смешным и легко может быть осмеян на тех же основаниях, на каких вообще осмеиваются человеческие недостатки.

Психологически злой смех близок к смеху циничному. И тот, и другой виды смеха порождены злыми и злобными чувствами. Но сущность их все же глубоко различна. Злой смех связан с мнимыми недостатками людей, циничный смех вызван радостью чужому несчастью.

Все до сих пор рассмотренные смеха были прямо или косвенно связаны с какими-то действительными или мнимыми большими или малыми недостатками тех, кто вызывал смех. Но есть и другие виды смеха, которые, выражаясь философским языком, внеположны по отношению к каким бы то ни было недостаткам людей, то есть не имеют к ним никакого отношения. Эти виды смеха не вызваны комизмом и не связаны с ним. Они представляют собой проблему скорее психологического, чем эстетического порядка. Они могут стать предметом смеха или насмешки, но сами никакой насмешки не содержат. Это прежде всего смех ***жизнерадостный,*** иногда совершенно беспричинный, или возникающий по любым самым ничтожным поводам, смех жизнеутверждающий и веселый.

Первая улыбка ребенка радует не только мать, но и всех окружающих. Подросши, ребенок радостно смеется всякому яркому и приятному для него проявлению жизни, будь то новогодняя елка, или новая игрушка, или попавшие на него брызги дождя. Есть люди, которые эту способность смеха сохраняют на всю жизнь. Таким смехом смеются люди, от рождения веселые и жизнерадостные, добрые, расположенные к юмору.

Есть эстетики, которые делят смех на субъективный и объективный. Границы здесь провести очень трудно. Но если это деление правильно, любой вид простого радостного смеха может быть отнесен к смеху субъективному. Это не значит, что для такого смеха нет объективных причин. Но эти причины – часто только поводы. Кант называет этот смех “игрой жизненных сил”. Такой смех вытесняет всяческие отрицательные переживания, делает их невозможными. Он тушит гнев, досаду, побеждает хмурость, поднимает жизненные силы, желание жить и принимать в жизни участие.

Что смех поднимает жизненные силы и жизнеспособность, замечено уже очень давно. На заре человеческой культуры смех входил как обязательный момент в состав некоторых обрядов, отсюда известен так называемый ***обрядовый*** смех.

На взгляд современного человека нарочитый, искусственный смех есть смех фальшивый и вызывает в нас осуждение. Но так смотрели не всегда. Смех в некоторых случаях был обязателен так же, как в других случаях был обязательным плач, независимо от того, испытывал человек горе или нет.

Некогда смеху приписывалась способность не только повышать жизненные силы, но и пробуждать их. Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Это касалось как жизни человека, так и жизни растительной природы.

И последний вид смеха, о котором говорит в своей книге В. Пропп, это ***разгульный*** смех.

До сих пор мы говорили о смехе как о чем-то едином по степени интенсивности. Между тем смех имеет градации от слабой улыбки до громких раскатов безудержного хохота.

Наличие границ, некоторой сдержанности и чувства меры, в пределах которых явление может восприниматься как комическое и нарушение которых прекращает смех, - одно из достижений мировой культуры и литературы. Но такую сдержанность ценили далеко не всегда и не везде.

Если нас сейчас привлекает наличие каких-то границ, то некогда привлекало, наоборот, их отсутствие, полная отдача себя тому, что обычно считается недопустимым и недозволенным и что вызывает громкий хохот. Такой вид смеха очень легко осудить и отнестись к нему высокомерно- презрительно. В западных эстетиках этот вид смеха отнесен к самым “низменным”. Это смех площадей, балаганов, смех народных празднеств и увеселений.

К этим празднествам относились, главным образом, масленица у русских и карнавал в Западной Европе. В эти дни предавались безудержному обжорству, пьянству и самым разнообразным видам веселья. Смеяться было обязательно, и смеялись много и безудержно.

Число видов смеха можно было бы и увеличить. Так, физиологи и врачи знают истерический смех. Также чисто физиологическое явление представляет собой смех, вызванный щекоткой.

То, что возможны иные виды смеха – довольно очевидно. Рассмотренные виды дают очень приблизительное представление.

 2. ПАРАДОКС СМЕХА

О самом смехе как эмоции за тысячелетия человеческой истории написано уже столько, что трудно сказать что-то новое. Однако новизна, состоящая – всего лишь! – в ином расположении старого материала уже дает немало пользы.

Можно сказать, что никому еще не удалось выразить суть комизма лучше, чем Аристотелю, заметившему в дошедшей до наших времен первой части “Поэтики”:

“…смешное – это некоторая ошибка и безобразие; никому не причиняющее страдания и ни для кого не пагубное”. Разумеется, и это определение несовершенно, но не более чем тысячи других, пришедших ему на смену.

И все же… Будем справедливы: история изучения смеха проходит под знаком Аристотеля. Всякому, кто знакомился с ней хотя бы отчасти, известно, что все видимое и устрашающее многообразие теорий комизма имеет единый корень – формулу Аристотеля, согласно которой смешное есть часть безобразного. Одни проводили эту мысль более последовательно, другие – менее, но, по сути дела, никто от аристотелевского определения далеко не ушел. Да и некуда было идти, ибо автор поэтики почувствовал главное, что есть в смехе – его парадоксальную ценностную ориентацию, ничуть не изменившуюся за истекшие тысячелетия.

Сегодня, учитывая все основные теоретические варианты можно осмелиться утверждать: в написанном до сих пор о смехе с неумолимостью повторяются, варьируются две идеи, которые вряд ли могут быть поколеблены в обозримом историческом будущем:

* сущность смеха, невзирая на все кажущееся бесконечным многообразие его проявлений едина;
* сущность смеха – в усмотрении, обнаружении смеющимся в том, над чем он смеется, некоторой доли негативности, известной “меры зла”.

Собственно говоря, здесь даже не две, а одна мысль: второй тезис просто указывает на то, что именно вызывает в человек желание смеяться. Однако если с первой частью утверждения все более или менее ясно, то вторая часть всегда рождала недоумения и вопросы: сарказм или ирония вроде бы действительно нацелены на обнаружение зла, но как быть с другими видами смеха – с “беззаботным”, “доброжелательным” смехом, с “ласковой” улыбкой и “мягким” юмором?

“Мягкий”, “добрый” смех взрослого, наблюдающего за неловкими движениями малыша (пожалуй, предельный случай для опровержения аристотелевской формулировки), на поверку оказывается связан хотя и с малой, но все-таки долей негативности: ведь смех взрослого вызывает отнюдь не ловкость движений детских движений, а их не-ловкость.

Именно эта трудность однозначного бесспорного охвата всей области смеха рамками названного утверждения нанесла наиболее тяжкий урон теории комического. Не помогали даже самые изощренные и расширительные толкования тех мыслителей, которые видели единство всех форм смеха “яснее солнечного света”. Отчасти это и понятно: ведь и самые широкие толкования и определения не смогут убедить сомневающегося, ибо в его распоряжении имеются личные впечатления, воспоминания, примеры, в которых он никакого противостояния смеха злу не усматривает и потому решительно отказывается считать негативное начало источником любого рода комизма. Ограниченность взгляда, помноженная на неизбежную узость любого, пусть самого впечатляющего набора объяснительных примеров теоретика, делает скептика неуязвимым, “непробиваемым”. Почти что убежденный в предлагаемом ему объяснении существа дела, он отыскивает в памяти случай, противоречащий, как ему представляется, такому объяснению и … все возвращается на круги своя. Объяснение и определение уже кажется несовершенным, неверным; тайна смеха, словно проворная рыбка, проскальзывает сквозь ячею самых безупречных классификаций и формул. Все нужно начинать заново.

Но все же попытаемся заглянуть за барьеры определений и классификаций с тем, чтобы дать общий контур феномена смеха и внимательно вглядеться в существо чувства, разрешающегося в смехе, в котором все очевидно и все - тайна.

Смех парадоксален. Смех парадоксален потому, что не соответствует предмету, который его вызывает, и в этом, внешне неприметном, несоответствии кроется, может быть, главнейшая особенность смеха. Человеческие эмоции, если, конечно, не брать в расчет патологию и “бытовую” истерию, суть отклики на соответствующие им по своему прагматическому значению предметы. Нечто неприятное закономерно вызывает в нас огорчение и неприязнь. Что-то удивительное влечет за собой удивление, интерес, нечто страшное – испуг, ужас. Иначе говоря, характер вещи, являющийся в ее отношении к нам, ее прагматика обнаруживается в чувстве, которое эта вещь провоцирует.

Могут сказать, что точно так же и нечто смешное вызывает в человеке смех, и потому к только что рассмотренной цепочке соответствий можно добавить еще одно звено, не нарушив при этом общего принципа сочленения. Нельзя, ибо нарушение здесь есть, и, хотя дело идет о смехе, нарушение весьма серьезное. Смех – единственный из всех эмоциональных ответов, который во многом противоречит предмету его породившему. А это означает, что смех, выражающий несомненно приятное, радостное чувство, оказывается при пристальном рассмотрении ответом на событие, в котором человеческий глаз или ухо уловили, помимо всего прочего, нечто достойное осуждения и отрицания.

Конечно же, речь идет о зле в самом широком толковании, обнимающем и реальную угрозу, бессильную перед твердостью духа, и бесхитростные цирковые обливания водой, удары по голове, падения на арене, и самые тонкие проявления негативности, возникающие в ситуациях пресловутого “несоответствия формы и содержания”; кстати, приставка “не” уже оповещает нас о какой-то деформации, отклонении от нормы. Сюда же идут и случаи контекстных нелепостей, когда сама по себе несмешная вещь попадает в такое окружение, что делается смешной. Рассказанная Версиловым в “Подростке” история о человеке, который – то ли от нервного напряжения, то ли еще от чего – вдруг неожиданно для себя самого “засвистал” на похоронах, охватывает почти всю шкалу вариантов негативности, порождая смех читателя, надежно прикрытого от события эстетической дистанцией. Здесь есть зло и в его мыслимом пределе (смерть, похороны), и в виде аномальной реакции персонажа, и вообще в самом факте абсурдности, нелепости случившегося. Нелепости, впрочем, лишь по меркам нынешним: архаический ритуал хорошо знаком с такого рода превращенными “радостными” формами отношения к смерти…

Отголоски зла всегда слышны в раскатах смеха. Но необходимы внимание и усердие, чтобы различить их в звуках ликующей радости: разгадка парадокса требует терпения.

Именно это парадоксальное несоответствие между бросающимся в глаза положительным характером смеха и злом, таящимся в вещи, которая вызвала улыбку, служило и служит по сию пору основным препятствием для уяснения сути смеха.

Главный вопрос, который необходимо задать для того, чтобы приблизиться к пониманию проблемы, должен звучать так: почему смех “ненормален” по сравнению с остальными “нормальными” эмоциями; почему эволюция – биологическая и культурная – подарила человеку столь парадоксальный, радостный способ оценки существующего в мире зла, пусть не всего, но все же значительной его доли?

Наш вопрос сразу же может быть атакован другим. Разве улыбающийся младенец борется со злом? Где в смехе ребенка можно найти что-то такое, что соответствовало бы сущности истинно человеческого смеха – радости, возникшей в момент усмотрения зла?

Кажущаяся сила этого вопроса сбивала с толку многих и вынуждала их скрепя сердце произнести: увы, единая концепция смеха невозможна. Смех может быть ответом не только на негативность, но и просто выражением радости, чистого удовольствия. Что младенец! Даже молодые здоровые люди смеются так часто и беспричинно лишь оттого, что они просто молоды, здоровы и наивны…

Однако спросим, в свою очередь и мы себя: не смешиваются ли в этих всем хорошо знакомых рассуждениях представления о двух различных вещах – о смехе подлинно человеческом и смехе “формальном”, лишь внешне напоминающем первый? Разве не очевидно, что за этим формальным смехом, которым обладают даже идиоты, стоят миллионы лет генетической эстафеты, донесшей до нас остатки древнейшей интенции жизнеутверждающей агрессивности, проявление преизбытка чисто физических возможностей? Облагороженная психосоматикой вида Homo sapiens, эта интенция сохранилась в обкатанных культурой формах так называемого “здорового” или “жизнеутверждающего” смеха, в котором, вообще-то говоря, от начала подлинно человеческого и осталась-то одна лишь только форма. Понадобилась вся “доистория” человечества, чтобы придать смеху – выразителю специфически человеческого отношения к злу – тот вид, который оно имеет на памяти культуры. Но при этом в нас сохранилась “память” и об исходной точке этого движения. Рядом с подлинным смехом существует, причем в тех же самых формах, некий прасмех, по самой сути своей нерефлексивный и неоценочный. Внешне они неразличимы, и мы, смеясь, не задумываемся над тем, что движет нами и заставляет совершать привычный смеховой ритуал.

Так намечаются контуры решения проблемы существования двух видов смеха, скрывающихся под одной и той же маской, но выражающих различные чувства: смешное охотно становится радостным, тогда как само радостное совсем не обязательно должно быть смешным. Впрочем, даже и тут мы можем перекинуть мостик: глядя в прошлое нынешнего “здорового” смеха, мы без труда увидим его связь со злом. Энтузиастический порыв, дружелюбная демонстрация мощи особи в актах игры-драки или во время церемонии приветствия-угрозы есть не что иное, как самая первая, грубая и прямолинейная форма связи между потенциальной угрозой и бурно выражаемой эмоцией, которой когда-нибудь предстоит стать человеческим смехом.

Однако вернемся к индивиду. Улыбающийся младенец –обладатель чистой формы, доставшейся ему даром от поработавшей над этой формой культуры. Когда он улыбается, никакого несоответствия между характером формы и предметом ее вызвавшим, действительно нет и не может быть: перед нами никакая не парадоксальная, а абсолютно нормальная, естественная реакция – приятное событие (появление матери или новая игрушка) рождает приятное чувство. Такое положение сохраняется довольно долго. Ребенок уже умеет говорить, а смех его все еще остается смехом, условно говоря “дочеловеческим”, хотя по форме своей он ничем от смеха подлинного не отличается. Идет время, ребенок смеется десятки раз на дню, получая от смеха удовольствие, которое ничем другим он заменить не может. Перед нами любопытная и явно переходная по своей сути ситуация: человек уже научился смеяться, но не обрел еще объекта, достойного осмеяния; круг ситуаций, которые смешат ребенка, пока еще остается крайне ограниченным и наполненным на редкость однообразным “материалом”. Пока что в смехе разрешается лишь переполняющая ребенка “радость бытия”, субъективное физиологическое ликование, родственное восторгу играющего щенка.

Но вот наступает фаза перелома. Незаметно для себя ребенок совершает первые, пока еще нерешительные и не вполне удачные попытки смеяться над тем, что по-настоящему смешным ему вовсе не кажется. Наблюдая за взрослыми, смеющимися своим “взрослым” смехом над чем-то еще не понятным ребенку, он, подчиняясь заразительной силе смеха, начинает смеяться вместе с ними. Его смех формален, поверхностен, он лишь имитирует понимание того, что на самом деле пока еще не кажется ребенку ни смешным, ни понятным. Но постепенно дело идет на лад: он начинает все чаще угадывать, выделять те ситуации, которые следует оценивать посредством “взрослого” смеха. И в конце концов у ребенка вырисовывается смутный образ того общего, что наличествует в различных осмеянных взрослыми вещах, а в итоге он и сам научается безошибочно узнавать признаки этого общего, чему он еще не знает имени, а если и знает, то уже не осознает, что смеется именно над ним, а не над чем-то иным.

С этого момента перед ребенком встает непреодолимый барьер, заслоняющий от его интеллектуального взгляда источник смеха. Путь назад отрезан решительно и окончательно. Обретя наконец-то истинно человеческий смех, он теряет способность понять, отчего смеется: положительный характер смеха надежно скрывает причину, его породившую. Кто, будучи в здравом уме, увидит в плюсе минус? Собственно, такой барьер сложен не только для ребенка, его не смогли одолеть и многие теоретики комизма. Негативность растворялась в улыбке и не давала возможности себя опознать: смех становился непроницаемым, “зеркальным”. Такова амальгама зеркала – в ней можно увидеть все, но только не ее саму…

Переворот в сознании и неприметный для сознания может свершиться почти мгновенно. Вот сидит у цирковой арены мальчик. Клоун падает, растягивается на опилках, но мальчик не смеется. Он еще не знает, не догадывается о том, что случившееся смешно, что над падением человека можно смеяться. Но пройдет совсем немного времени, и уже в следующий раз мальчик будет вместе со всем залом хохотать и хлопать в ладоши. Он совершил открытие – научился видеть мир в зеркале смеха, однако понадобятся годы, прежде чем это зеркало станет двусторонним и заставит его смеяться над самим собой.

История знает множество форм смеха. Но , хотя в различных культурах люди смеялись над разными вещами и смеялись по-разному, это не меняло главного: сущность смешного остается во все века одинаковой, идет ли речь о “гротескном” образе тела и его отправлений, поэзии английского нонсенса, “надгробном” юморе или же о гоголевском смехе, прорывающемся сквозь невидимые миру слезы. Присутствие в вещи момента негативности, известной “меры” зла, которая и пробуждает в нас способность к смеховой оценке, в любом случае остается непоколебленным. И эта парадоксальная черта смеха – радости, осмеивающей зло, - наводит на мысль о том, что парадокс, и, может быть, не меньший, кроется в самой гримасе смеха, в самой форме его бытия на человеческом лице.

 3. ЛИКИ СМЕХА

В “Проблемах комизма и смеха” Владимир Пропп останавливает свой анализ чуть раньше, чем того требовала логика изучения предмета. К сожалению, он не ставит вопроса и соответственно не дает ответа на вопрос о том, почему смех выражается именно так, как он выражается, а не как-либо иначе.

Казалось бы, ход рассуждений должен был неминуемо подвести В. Проппа к этому вопросу, но все же последнего и решающего шага он не делает. “Когда мы пугаемся, - пишет

В. Пропп, - мы вздрагиваем; от страха мы бледнеем и начинаем дрожать; когда человек смущается он краснеет, опускает глаза; от удивления он, наоборот, широко раскрывает глаза и всплескивает руками. От горя мы плачем, плачем мы также, когда бываем растроганы. Но отчего человек смеется?”

Очевидно, что в последнем звене цепочки, в которой прослеживаются соответствия между причиной эмоции и способом ее выражения, В. Пропп, сам того не желая, совершает текстуальную и содержательную подмену. Его вопрос “отчего человек смеется”, правомерный в любом другом случае, здесь, согласно логике рассуждения, должен был звучать по-иному, а именно: “Когда человеку смешно, как он смеется? Каким образом осуществляется его смех?” А это уже совсем другой вопрос и соответственно другая проблема, которая, несмотря на свою “ поверхностность”, может дать кое-что из области “внутреннего” и существенного.

Взгляните на смеющегося: только что бывшее спокойным лицо вдруг преобразилось. С напряженным выдохом приоткрылся рот, сощурились глаза, поползли в длину и вширь губы, являя взору два ряда зубов. Смех усиливается, спазматические сокращения мышц диафрагмы переводят его в хохот: рот открыт, из гортани доносятся торжествующе стонущие звуки, зубы обнажены полностью – они уже самая заметная, бросающаяся в глаза примета лица. Перед нами – осклаб, оскал рта, удивительным образом совпадающий с формой проявления чувств совсем иного свойства, находящих свое выражение в гримасах страдания, безудержного плача или же – в масках гнева и ярости; во всяком случае, у них гораздо больше сходств, нежели различий: обнажение верхних зубов, столь характерное для проявлений ярости или страдания, оказывается одной из существенных черт смеха и даже спокойной улыбки.

Такую особенность смеющегося отмечал еще Леонардо да Винчи: “Тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет, ни глазами, ни ртом, ни щеками, но только неподвижным положением бровей, которые соединяются у того, кто плачет, и поднимаются у того, кто смеется”. Однако о том, почему столь схожи между собой столь разные вещи, как смех и плач, не говорит ни Леонардо, ни специально занимавшийся этим вопросом Дарвин. Для него единство выражения смеха и плача – загадка, не имеющая ответа. По Дарвину, смех и плач просто обязаны выражаться по-разному, хотя реальность говорит как раз об обратном.

Так каков же все-таки смысл этой удивительной схожести? Чувство комизма выражается в гримасе радости, столь очевидно напоминающей нам гримасы плача и ярости. Только ли о формальном совпадении может идти речь в нашем случае; нет ли здесь совпадения более существенного, порожденного мощным диктатом единой эмоциональной интенции, которая хотя и раздваивается парадоксальным образом на столь различные потоки, но тем не менее выражается с помощью одного и того же универсального мимического механизма?

Не пытаясь говорить об особенностях физиологии смеха, попробуем все же дать принципиальный ответ на этот вопрос. Простота ответа может в данном случае смело соперничать с его гипотетичностью. Однако при таком подходе многие прежде не объяснимые в смехе вещи неожиданно объединяются в единую цепочку, а сама гипотеза приобретает вид системы, логически и содержательно значимого конструкта, для опровержения которого требуется построение другой, хотя бы и совершенно иной, но также отвечающей правилам системности, гипотезы.

Итак, если вспомнить об уже упоминавшемся основоположном тезисе теории комизма, высказанном еще Аристотелем, то можно предположить следующее: коль скоро мы допускаем, что в глубинных основах негативных эмоций и положительного смеха лежит одна и та же причина, а именно то, что не только плач или ярость, но и смех есть реакция на обнаружение в вещи зла, все становится на свои места: реликтовая, функционально бесполезная мимика – обнажение зубов в гримасах страдания или ярости – закономерно сохраняется и в смехе, но смягчается, маскируется и обретает иной смысл. Мимика улыбки и смеха оказывается эвфемизированной формой оскала недовольства – меньшей доле увиденного зла соответствует “ослабленный” вариант агрессии; по сути, перед нами ее “тень”, имитация, не оставляющая, однако, сомнений относительно источника своего происхождения.

Другое дело, что сразу же перед нами встает проблема объяснения того, почему вообще существует феномен парадоксального разделения единой эмоциональной интенции на два столь отличающихся друг от друга потока. Иначе говоря возникает необходимость анализа положения, при котором исходная ценностная установка раздваивается и появляется аномальная положительная эмоция, разрешающаяся в смехе.

Скорее всего мы имеем дело не с произвольно возникающей эмоциональной антитезой, а с реальным наложением, соединением двух различных эмоциональных порывов, осуществляющихся в единой форме выражения: радости, удовлетворенности тем, что зло неопасно, преодолимо, и ярости или страдания, указывающих на то, что речь идет все-таки об оценке зла. Смех оказывается результатом ошибки, противоречивого соединения двух по крайней мере эмоциональных движений, в котором побеждает позитив, сообщающий смеху в целом и стоящему за ним чувству выраженную приятную окраску. Может быть, этим обстоятельством объясним отчасти взрывной, внезапный характер усмотрения человеком чего-то смешного в вещи: ошибка эмоциональных потоков неожиданна, чувство “щекочет” разум; и как итог этой коллизии – слияние двух эмоциональных интенций, выражающихся в гримасе, несущей на себе печать и радости, и агрессивности или страдания.

Для обоснования такого предположения мы имеем примерно столько же аргументов, сколько и для его опровержения, так как нам неизвестны древнейшие формы выражения чувств, имевшиеся в распоряжении пра-человека; аналогии же с нынешними приматами, хотя и не противоречат напрямую такого рода гипотезе, но также и не доказывают ее: отсутствие прямого генетического родства делает любые сопоставления обезьяны и человека в высшей степени приблизительными.

Эта ошибка, слияние противоположных эмоций, дает жизнь удивительному феномену повтора спазмов и звуков смеха, позволяющих нам “удержать” ощущение смешного даже после того, как ситуация, вызвавшая смех уже оценена и разгадана. Смех рождает приятные ощущения, и оттого мы с неохотой расстаемся с ним, держа его “на привязи” повторяющихся “взрывов” и продлевая тем самым чувство удовольствия, насколько это возможно. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с особым случаем проявления механизма “обратной связи”. Внезапное обнаружение того, что зло преодолимо, рождает удивление и радость, которые, в свою очередь, производят в нас своеобразный шок. Время останавливается и бежит вспять – чтобы еще и еще раз вернуться к точке, где нам открылась несостоятельность зла. И мы охотно возвращаемся к ней с каждым новым спазмом смеха и проживаем ее заново благодаря этой удивительной “икоте” разума.

Смеющемуся достаточно своего смеха. В этом смысле смех полноправно входит в мир феноменов эстетики – таких же, как он, “неутилитарных” и “непрагматичных”. Смеясь, человек не выходит в своих помыслах за пределы, положенные и очерченные самим смехом. Он не претендует на вещь, вызвавшую у него смех, и не отрицает ее (совсем иное мы видим в чувствах интереса, зависти, вожделения или ненависти, неприятия, отвращения, ориентированных на обладание вещью или на ее уничтожение). В этом смысле смех самоценен, родствен игре и может быть описан как “самосознание игры”. В акте улыбки ил хохота человек выносит свою оценку миру, не принуждая его к изменению, и если мир при этом все-таки изменяется, то происходит это оттого, что смех располагает “знанием”, каким мир должен быть на самом деле.

Уже говорилось, что зло, ответом на которое выступает смех, должно пониматься предельно широко. Иначе все можно свести к абсурду: будто бы кроме негативности в мире ничего больше не существует. Если бы осмеиваемая вещь была насквозь “пропитана” злом, то смех, по крайней мере смех обычный, был бы перед ней бессилен. Надо помнить о том, что смех способен оценивать и преодолевать далеко не все проявления зла, а весьма ограниченную его часть, ту самую “меру”, что была оговорена еще в аристотелевском определении.

Увиденный так смех действительно представляет собой высший и адекватный существу человека способ оценки зла, превышающий возможности любых иных прагматически более значимых эмоций, “готовых” стать действием. В противоположность им, направленным либо на разрушение внешней ситуации (гнев, ярость), либо на саморазрушение субъекта (горе, страдание), смех ничего не разрушает, но зато сам стойко противостоит любым мыслимым в принципе формам и видам разрушения.

Момент происхождения смеха укрыт от нас столь же надежно, как и тайна рождения мысли и слова.

В первобытности, по крайней мере в той, о которой мы можем судить более или менее достоверно, смех уже представляет собой целостность, в которой соединены, спаяны древнейшие, еще животные, истоки и те элементы, которые несомненно относятся к миру смеха подлинно человеческого. С одной стороны, нам ясно, что этот смех тесно связан со злом (ритуальное осмеяние умирания, смерти), но с другой – видно, что речь идет о таком мировоззренческом монолите, в котором нельзя четко выделить ни то, что мы сегодня именуем “злом”, ни то, что обозначается нами как “добро”. Надо сделать еще один шаг назад, в доисторию, для того, чтобы понять существо смеха сегодняшнего. Напомним одну из исходных позиций: разобраться в проблеме смеха можно лишь только в том случае, если учитывать факт существования в культуре одновременно и в одинаковых формах двух видов смеха – подлинного, условно говоря, “комического”, являющегося тогда, когда человеку бывает смешно, и дочеловеческого, исходного, выросшего из феномена чистой агрессивности, память о которой, возможно, сохранилась даже на уровне единства обозначений оскала и смеха в и risus, в немецком Rachen и Lachen, совпадения смыслов глаголов “осклабиться” и “улыбнуться” в русском латинском rictus и т.д. Такое сходство продиктовано единой для всех людей формой улыбки, ухмылки, смеха.

В самом же смехе, а тем более хохоте, намек на потенциальную агрессивность явлен недвусмысленно. Но эта гримаса, обнажающая зубы столь очевидно, что не оставляет сомнений относительно изначальных “нравов” ее носителей, не должна обмануть нас. Вопреки своей далекой от утонченной духовности форме выражения смех обладает явной интеллектуальной природой. Для того чтобы рассмеяться, глядя в глаза злу, необходимо суметь увидеть его взглядом особым, отстраненным. Надо прозреть существо и меру зла и тем самым, примерившись к нему, осознать свое превосходство. Смешное – это в общем-то осознанное, побежденное, а потому прщенное зло. Отсюда победительная и одновременно великодушная позиция смеющегося: он отвечает злу смехом, иначе – добром, так как сумел оценить степень зла и соотнести с ним свои возможности. Он сильнее, его ответ не плач и не удар, но улыбка.

Поистине парадоксальная и достойная изумления картина: столкнувшись с наличием в мире зла, человек не бесится от злобы и ненависти, не рыдает, но, миметически повторяя маску ярости, звериного боевого оскала, являет радость, ликование, заменяя рык смехом.

Этот механизм замены, эвфемизация “сильных” движений души оказался настолько надежным, что сделался универсальным средством выражения чувства комизма для всех тех многообразных типов мироощущения, которыми изобилует путь развития цивилизации. Исходная агрессивность впервые умирает, растворяется в смехе, и именно в это момент начинает свой отсчет история человека смеющегося.

В “реестре” эмоциональных ответов на факт существования зла смех занимает свое вполне определенное место. Зло, превышающее наши контрвозможности, оценивается набором выраженных отрицательных эмоций, распадающихся довольно четко на круг агрессии и круг пассивного переживания. Тут нам “не до смеха”. Смех является тогда, когда зло оказывается принципиально преодолимым. Когда, усмотрев в вещи изъян или враждебность, человек может интуитивно “достроить” должный образ этой вещи. Обезвреженное таким, в сущности, интеллектуальным путем, зло “прощается” нами в смехе, сохраняющем, однако, намеки на возможность совсем иного, далеко не безобидного ответа: в доброй улыбке можно разглядеть и оттенок страдания, и боевой блеск “злых зубов”.

Много уже говорилось о зле, всякий раз призывая понимать его предельно широко. И все же, несмотря на оговорки и указания на разное, порой самое безобидное содержание этого понятия, оно все-таки способно исказить и “омрачить” общую картину. При желании элементы зла можно отыскать в чем угодно, включая сюда и само это желание. Но смешит нас далеко не все: вызвать смех способно лишь зло выразительное, правда, ставящее тут же и очередную преграду для смеховой оценки. Ведь выразительность предполагает силу, действенность, а они губительны для смеха, и если он не найдет для себя опоры, не сумеет защититься, то неминуемо погибнет. Тут-то и приходят на выручку всемогущие контекст и “эстетическая дистанция” (Э. Баллоу): всего лишь пересказ события, а не оно само, всего лишь воспоминание о факте, а не он сам, и вот уже бледнеет, сходит на нет былой страх или напряженность, и сквозь них просвечивает смешная сторона случившегося, только теперь и ставшая очевидной. Дистанция способна творить чудеса, она может придать эстетический оттенок чему угодно, вопрос лишь в том, с какого расстояния взглянуть на вещь: как сказал бы в таком случае Г.К.Честертон, можно шутить даже по поводу смерти, но все же у ложа умирающего…

Не зло само по себе смешит нас, а способ его подачи, динамический контекст его

“приютивший”. Прибавим к этому нашу готовность к смеху, меняющуюся от минуты к минуте, и общий абрис “смехотворной” – в прямом смысле слова – ситуации предстанет во всей своей причудливости. Здесь и берет начало многообразие видов смеха. Весь его арсенал, начиная от “мягкого юмора” и “доброй улыбки” и кончая “едким сарказмом” и “злой иронией”, окажется отражением, снимком с действительного многообразия вариантов подачи “выразительного” зла, уравновешенного или пересиленного ценностным антиподом – позитивом. Таков живой, полнокровный мир. Отсутствие же подобной коллизии даст нам скучный, серый “образ”, который не только не будет осмеян, но вообще вряд ли спровоцирует в нас какое-либо чувство: ведь не замечаем же мы, спеша на троллейбус, цвет асфальта под ногами…

Итак, “мера” зла, наличествующая в вещи, ее выразительность, и радость и изумление, явившиеся в момент обнаружения того, что зло недействительно, преодолимо, дают нам общий, крайне приблизительный чертеж запуска механизма смеха.

Кто-то способен рассмеяться перед лицом опасности, а кто-то будет смеяться, если эта опасность станет угрожать другому. Принцип смеха в обоих случаях один и тот же, хотя глубоко различным будет наше отношение к смеющимся. Но сам смех, если подходить к делу непредвзято, тут не повинен: микроскопом можно забивать гвозди, из чего не следует, что он предназначен именно для этого. Смех не может быть источником зла, хотя его постоянный и, главное, закономерный контакт с темным началом действительно может вызвать такую иллюзию. Смеющаяся над распятым Христом толпа кажется нам сегодня более жестокосердной, чем она была на самом деле: толпа не знала, кто и за что погибает на ее глазах; она смеялась над “обманщиком” и “самозванцем”, а не над Сыном Божьим, а потому ее смех был, может быть, грубым, варварским, но все же вполне человеческим.

Механизм смеха един для всех культурных эпох, каким бы различным ни было их наполнение. “Мера” зла, необходимая для смеха, - величина переменная, но сам по себе принцип “меры” столь же постоянен, как Полярная звезда. “Мера” пульсировала, менялась, и вместе с ней изменялись и объект смеха, и сам смех. Так сугубо зловещий, мрачный облик бесов романского искусства, начиная с эпохи готики, воспринимается во все более и более легкомысленном и даже фарсовом ключе. Дистанция между внушавшим ужас дьяволом раннего средневековья и дьяволом – героем современных фантасмагорий порождена в конечном счете разбуханием той исходной “меры”, которая когда-то налагала нерушимую печать на смеющиеся уста и приводила в трепет любого острослова.

…“Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно”. В этих словах – суть границы, пролегающей между злом, вызывающим слезы, и злом, рождающим смех. Степень значимости события обнаруживает себя в мощи чисто эмоциональной реакции, которая гасит свет разума, погружая все во мрак животного страха или гнева. Анри Бергсон по этому поводу сказал, что чувство убивает смех.

Свет разума гаснет и во сне: спящий почти не отделяет себя от того, что видит в своих снах. Любая, даже самая нелепая ситуация принимается им за чистую монету. Спящий в принципе не способен к отстраненному, рефлексивному взгляду на посещающие его фантомы, и потому не замечает комизма, чудовищной несуразности и нелепости являющихся ему гротесков и метафор. Сны свободны от смеха, ибо сон разума убивает смех. Пусть не обманет нас улыбка, появляющаяся иногда на губах спящего: она – свидетельство переживания во сне чего-то приятного, может быть, радостного, но отнюдь не смешного. Смех во сне – аномален, он примитивен и всегда связан с неврозом.

Сходным образом и ной полюс – “абсолютный” разум, чистая духовность – также губителен для смеха. Из этого источника (официальная серьезность вероучения и ритуала) проистекает и потребность средневековья в смеховом переосмыслении смеховой идеологии. Если прежние архаические, родовые боги могли самозабвенно смеяться и даже рождать мир, давясь от хохота, то боги новых религий оказались куда серьезнее. Однако, как бы то ни было, сама чисто психологическая потребность в смехе никуда исчезнуть не могла, и ему пришлось искать для себя какое-то новое место. Оно нашлось, но, правда, нашлось уже не “под солнцем”. В облике дьявола и его окружения нетрудно угадать некоторые черты прежних родовых богов. Внушавшие некогда чувства весьма “сильные”, они частью исчезают, а частью входят в новое сознание, например, в массовое христианство на правах шутов – “мелких бесов” или “петрушек”, - начисто растеряв всю свою былую значительность.

Полюсу серьезности настоятельно, жизненно необходима ценностная антитеза, и она возникает, пронизывая собой все тело человеческой культуры, включая сюда и область искусства, где можно достаточно уверенно проследить судьбу двух “жанровых подкладок” одного итого же сюжета, существующего в устойчивых парах: трагедия – комедия, роман страстей – плутовской роман, эпос – сатира. А еще раньше сходным путем язык и мифология производят целый набор терминов-сюжетов, “онтологизирующих” два полюса естественной человеческой чувственности, и на одном из них складывается цепочка связанных между собой и семантически близких друг другу мотивов: солнце – свет – утро – весна – рождение – рост – радость – смех. Цепочка, замыкающаяся в круг, где солнце и смех оказываются, в сущности, предметными “синонимами”.

Это своеобразный свето-смеховой “словарь” был настолько основательно усвоен последующими эпохами, что в конце концов вообще перестал осознаваться, хотя и не вышел из употребления окончательно. Сегодня, когда мы читаем о смеющейся утренней лазури (Ф. Тютчев), говорим о том, что на чьем-то лице “сияла улыбка” ил даже воочию видим ее на детском рисунке, изображающем смеющееся солнце, мы уже не даем себе отчета в том, какие древние смыслы звучат в столь легко проговариваемых нами словах, не чувствуем, что за набором этих как будто бы случайно-красивых эпитетов смеха скрывается целая линия культурной преемственности, истоки которой следует искать еще в первобытном прошлом.

4. АНТИТЕЗА СМЕХА

Что может быть противопоставлено смеху как эмоциональная антитеза? Казалось бы, ответ напрашивается сам собой: плач, страдание. Слезы – знак душевной боли с такой легкостью появляются на лице смеющегося…

Однако не станем спешить, ведь смех смеху рознь. Проблема смеха не в том, что человек смеется, а в том, что иногда ему бывает смешно и потому он смеется. А раз так, то все оказывается гораздо сложнее.

Плач – конечно же полноправная и несомненная антитеза смеха. Но какого? Вот в чем все дело. Плач есть противоположность смеха, который с чувством смешного, комики не связан; это смех формальный, “наследственный”, достающийся нам даром в момент вступления в жизнь одновременно с плачем. Тут действительно противоположность несомненная: выражению радости физического бытия, преизбытка здоровья и силы противостоит не менее “телесная” по своей сути эмоция недовольства, разрешающегося в слезах и гримасе страдания или же безудержной ярости.

Противопоставлять же плач смеху, рожденному осознанием комизма, смеху подлинно человеческому – одухотворенному, оценочному – значит, ничего в нем не понять. Прав был

Г. Шпет, предостерегавший как от чумы, от попыток выведения “понимания и разума из перепуганного дрожания и осклабленной судороги протоантропоса”. Смех и плач, идущие в паре, пусть и очеловеченные, смягченные внешне, по своей сути гораздо ближе к исходным “осклабленной судороге” и “дрожанию”, нежели к смеху истинному, комическому и тому, что может быть предложено ему в качестве не только эмоциональной, но и этической альтернативы.

Ее искали, формулируя принципы комического, и находили то в “возвышенном”, то в серьезном, то в “трогательном”, то в “лирическом”. Если же вспомнить о том, что при всей своей парадоксальности и противоречивости смех – это радость, и прежде всего радость, то станет понятно почему подлинная смысловая антитеза никак не складывалась: возвышенное или лирическое действительно не смешно, но вместе с тем, ни то, ни другое нельзя назвать чем-то по-настоящему противоположным радости.

Не складывалась и формальная сторона дела. Излишняя широта или, наоборот, узость подобных антитез выходила наружу довольно скоро, потому что подбирались они по аналогии со смехом, а смех, в свою очередь, также брался то слишком узко, то слишком широко. В этом, кстати сказать, - одна из причин стойкости традиционного противопоставления смеху слез, которое, помимо своей очевидности, имело и интуитивно выбранное основание: ведь в сущности, друг другу противополагались не слезы и смех в его подлинно человеческом смысле, а слезы и выражающаяся в смехе радость. И поскольку подлинный смех, смех ума легко и органично присоединяется к стихии радости, постольку и вся пара в целом, хотя и с некоторым “скрипом”, но все же делала свое дело, и этого было достаточно для того, чтобы какое-то время такая антитеза не вызывала никаких подозрений.

Однако постепенно и неуклонно накапливалось, собиралось то, что в установленное смысловое противопоставление не вписывалось: все то, что в конце концов и дало новый и прежде незнакомый портрет смеха – портрет феномена загадочного, противоречивого и многозначного. Против него портрет плача с прежней легкостью уже не вставал: объявившаяся несоразмерность для умов внимательных к оттенкам смысла была уже достаточно очевидна. Тем более что речь действительно шла о неравенстве. Правда, о таком неравенстве, которое внешне очень напоминает равенство: до тех пор, пока мы сравниваем жизнь смеха и слез на человеческом лице, все остается незыблемым. Однако если попробовать сопоставить между собой не внешнее, а внутреннее, - не наличное выражение чувств, а их смыслы, то положение изменится – одно сразу же начнет вырастать над другим. Ведь когда говорят “смех”, то обыкновенно подразумевают всю его смысловую и историческую многомерность; при произнесении же слова “плач” чаще всего дело идет именно о плаче как таковом или, в крайнем случае, о чувстве тоски или огорчения. О каком же равенстве можно здесь говорить?

Плач одномерен и одномирен, “равен себе”, независимо от того, идет ли он как ответ на страдание телесное или же как отклик на муку душевную: смысловая цепочка везде будет одна и та же – зло и вызываемые им слезы. “Счастливые” слезы или “слезы радости” – не более чем редкие и вызываемые особенными обстоятельствами душевные проявления. Они, разумеется, существуют, но при этом, однако, не “делают погоды”: плач – в его особенном общезначимом смысле – все равно остается плачем, то есть знаком страдания, огорчения и тоски.

Другое дело смех. Он даже при самом беглом взгляде оказывается на порядок сложнее и богаче слез уже хотя бы потому, что соединяет в себе сразу два во многом противостоящих друг другу мира: стихию чувственно-телесной радости, витального энтузиазма и стихию парадоксальной комической рефлексии, суть которой – радостное сопротивление злу. Упрощая дело, можно сказать, что смеха – два, а плач – один. Внешне смех и плач действительно выглядят как противоположности, ибо наиболее выразительно представляют стихии радости и страдания, и поэтому их закрепление в качестве полюсов человеческой чувственности вполне оправдано. Но кроме внешнего существует еще и внутреннее. И вот здесь-то, на уровне невидимом, взаимоотношения смеха и плача меняются самым решительным образом.

Противоположности, как известно, сходятся. И, если быть точнее, сходятся они в генезисе явления, разделившегося в ходе своего самодвижения на две противоположные “части”. Именно этого – совпадения в истоке, в происхождении – и не найти в смехе и плаче. Сходятся, совпадают между собой плач и радость, но никак не плач и смех в его собственно человеческом, парадоксальном смысле. Смех радости и смех ума выражаются в одной и той же форме – вот в чем причина отождествления этих двух различных чувств, и вот в чем причина традиционного противопоставления смеха и плача. Смех – знак радости; оттого так естественно противопоставить его слезам; что же до более детального разбора устройства смеха, его особой двойственной природы, то до этого стихийная семиотическая работа общественного ума просто не дошла, ибо полученной пары уже вполне хватило для того, чтобы задать культуре работы на многие тысячелетия.

Да и, в конце концов, - пойдем иным путем, - если мы согласны с Аристотелем в том, что смех есть способность, отличающая человека от животного, то как вообще можно после этого говорить о правомерности антитезы смеха и плача? Животное знает слезы, но не знает смеха – в этом все дело, и именно поэтому ни о какой равномощной смысловой паре здесь речь идти не может.

Смех требует себе в оппоненты чего-то столь же многозначного, умственного, парадоксального, как и он сам. Чего-то равного ему во всем, кроме одного – эмоционального знака, который, согласно правилу антитезы, должен быть непременно отрицательным, и указывать в сторону противоположную радости – на боль и страдание.

Отыскивая чувство, удовлетворяющее всем оговоренным условиям, мы остановим свой выбор на феномене стыда. Может показаться неожиданным, но эта тихая, интимнейшая эмоция оказывается почти что полной калькой смеха. Правда, смеха, перевернутого с ног на голову, чего, впрочем, и следовало ожидать от настоящей антитезы.

Подобно смеху, стыд рождается как удар, взрыв, не подготовленный длительным созреванием, вынашиванием, как это можно видеть в переживаниях раздражения, озлобления или горя. Для первых двух симптоматично предварительное “примеривание” к наличной ситуации, накопление энергии, для последнего – самый момент ознакомления с трагическим событием не есть чаще всего импульс для немедленного выражения чувства: необходимы пауза, дление, после которых случившееся начинает осознаваться и, наконец, оцениваться как действительно и непоправимо случившееся.

Так же, как и подлинный смех, существующий бок о бок со своим примитивным предком-двойником, стыд происходит из реакции застенчивости, целиком относящейся к миру телесно-сексуальных переживаний и сосуществует с застенчивостью в одних и тех же формах (смущение, румянец), отличаясь от нее в принципе.

Чуть более ясна их общая отправная точка в онтогенезе: смех возникает в момент неожиданного обнаружения преодолимости, недейственности зла. Стыд же, напротив, зарождается тогда, когда столь же неожиданно выясняется, что совершенный нами поступок ошибочен, чреват злом, хотя еще мгновение назад он таковым не казался.

Возникнув стыд и смех ведут себя очень схоже: и тот, и другой являются непрошено, завладевают нами полностью, останавливая время и пуская его вспять. Со стыдом справиться так же трудно, как и с приступом хохота. Подобно спазмам смеха, возвращающим нас к чудесному моменту обнаружения нашего превосходства, “спазмы” стыда возвращают к ситуации, в которой наша вина стала явной и осознанной “изнутри”. Причем в обоих случаях действительная, внешне физическая прагматика отсутствует: стыд, приносящий нам сильнейшие и вполне реальные страдания, на самом деле не связан с какой-то реальной, актуальной угрозой. Смех же дающий нам не менее сильную радость, никак не соотносится с действительным, “всамделишным” благом. Стыдясь, мы не становимся беднее, а смеясь – богаче.

Смех чаще ориентирован на другого. Стыд – на самого стыдящегося. Однако эта разница несущественна: мы можем стыдиться и за другого, но для этого нужны любовь, сочувствие, делающие чужие переживания “открытыми” для любящего. Стыд сугубо персонален и даже просветленно-эгоцентричен. Усмотренное зло осуждается индивидом в одиночку; внешние свидетели – после того как они “сделали свое дело” – становятся абсолютно ненужными, их помощь бесполезна, ибо силы для преодоления, изживания чувства вины человек может найти только в себе самом, в отличие, скажем, от переживания грусти, тоски или раздражения, которые облегчаются, сглаживаются внешними усилиями сочувствующих и сопереживающих. Нельзя пережить стыд вдвоем или коллективно, если, разумеется, вина не была коллективной. Поэтому стыдящийся принципиально одинок и беззащитен. Стыдясь своего поступка, прежде постыдным не казавшегося, человек выступает по отношению к себе вчерашнему как внешний, иначе, сегодняшний наблюдатель: он проецирует значимую для него нынешнюю этическую парадигму на сюжеты прошлой, иной жизни и судит их и себя как судья подсудимого, не теряя, однако, при этом ощущения целостности своего “Я”.

Взрывная реакция стыда – удар изнутри, краска на щеках – свидетельство глубоко интимного процесса переживания личного позора. Она напоминает взрывной характер смеха, в котором, напротив, выражается уверенность в силе, личной правоте смеющегося. Стыд и смех почти “изоморфны”, они и были так “задуманы”: не случайно стыдливость более всего сторонится насмешливости, ибо смех ранит стыдящегося в самое сердце, а если быть точнее, то в ум. И если искать “идеальный” ответ на смех, то им будет именно ответный стыд.

При восстановлении смысловой и исторической связи, существующей между понятиями стыда, срама, греха и смеха, становится ясной причина, из которой шло негативное отношение христианства к смеху, особенно христианства православного. На Руси смех вообще становится одной из опознавательных черт не стыдящегося своей срамоты беса, и эта концепция входит и в древнерусскую литературу, и в фольклор, особенно в набор пословиц, на все лады обыгрывающих связь греха и смеха: “Где грех, там и смех”, “Смехи да хи-хи введут во грехи” и т.д. Отсюда, в частности, идет устойчивый интерес к бесовскому смеху у Гоголя и Достоевского.

Смех рассчитан на то, чтобы быть услышанным. Стыд молчалив, чужд общения: человек как бы временно умирает – цепенеет, опускает голову, прячет глаза, и только румянец красноречиво свидетельствует о том, какой пожар бушует в его душе. Подобно тому, как смех преодолевает зло в другом, не побуждая человека к физическому наказанию этого зла, стыд выступает как осознание зла в себе, его власти над нами, но без помысла ответить, отомстить тому, кто заставил нас испытать стыд. Предельным, но вполне логичным исходом состояния не поддающегося снятию или смягчению стыда может, скорее, оказаться самоубийство, то есть обращение физического действия на себя самого, но никак не на другого.

Когда мы говорим, что смех и стыд связаны с интеллектом, может возникнуть вопрос: а разве есть чувства, не прошедшие – так или иначе – обработку сознанием? Таковых в человеке и в самом деле нет. Поэтому, указывая на особый статус смеха и стыда, мы имеем в виду их принципиальную, теснейшую связь с интеллектом. На выраженный “рефлективный” характер стыда обращал внимание С. Томкинс, а еще раньше о стыде как наиболее человечной из эмоций выразительно писал Ч. Дарвин: “Не самое сознание вины, но мысль, что другие считают нас виновными, покрывает наше лицо румянцем стыда. Человек может, не краснея, внутренне стыдиться самым искренним образом какой-нибудь маленькой лжи, сказанной им; но стоит ему только подумать, что его уличили, в особенности люди, которых он уважает, и кровь немедленно бросится ему в лицо”.

“Умственный” характер стыда очевиден: паралич мысли и эмоциональная нищета не дают возможности испытать стыд. Потому-то идиоты не краснеют, и они же так часто смеются тем самым формальным, “идиотским смехом”, который страшно, безнадежно далек от подлинного человеческого смеха.

Итак, если стыд, как правило, эгоцентричен, направлен внутрь, то смех, напротив, ориентирован вовне: смеющегося интересует прежде всего не он сам, а кто-то другой. Смех над собой – высшая ступень комической оценки – доступен лишь тому, кто способен “встать” над собой, сделать нравственный и интеллектуальный рывок – взглянуть на себя со стороны и увидеть как другого. А это, оказывается, не так-то просто: еще А. Бергсон заметил, что комический персонаж смешон настолько, насколько не осознает себя таковым. Оттого-то осмеянный часто и вполне искренне не понимает, почему над ним смеются. Ему не хватает главного, того, чем с самого начала обладают смеющиеся – взгляда со стороны.

Стыдящийся уязвим и мирен. Он переживает стыд, осознавая свое бессилие; в нем начисто отсутствует самоуверенность. Смеющийся же полностью уверен в себе и оттого не полагает распространять свое преимущество – реальное или иллюзорное – далее границ собственного смеха. Смеющийся, так же как и стыдящийся, самодостаточен. Но окраска этих состояний – полярна. Переживающий стыд не нуждается в сострадании в такой же степени, в какой смеющемуся требуются сосмешники; стыдящийся испытывает наиболее нравственную из всех возможных форм страдания, превозмочь которое никто, кроме него, не в силах. Потому-то феномены сострадания, жалости, так, казалось бы, подходящие на роль полноправной антитезы смеха, оказываются на самом деле феноменами совершенно иного психологического регистра – их противоположностью будут душевная черствость, безразличие, но только не смех.

Стыд, если говорить не о физиологии, а об уровне феноменологического статуса чувств, - это и есть смех, но с иным альтернативным знаком. Смех и стыд, идущие в паре в отличие от архаической пары смех-плач, составляют квинтэссенцию истинно человеческой, иначе интеллектуализированной, одухотворенной чувственности. На эту пару интуитивно выходит Г.К.Честертон в своем описании “прекрасного безумия смеха” и “тайны стыда”, напоминающей человеку о сосуществовании чего-то высшего, чем он сам.

Впрочем, можно помыслить и такой условный мир, в котором этический смысл, потеснив прежнее чисто телесное содержание, наполняет лишь один из полюсов оппозиции, оставляя свою антитезу в состоянии динамического напряжения и ожидания. Таков мир “Чевенгура” и “Котлована” А.Платонова. Бросающееся в глаза тотальное отсутствие в нем смеха, поначалу воспринимается как загадка, эстетическая ущербность, становится вполне объяснимым и внутренне оправданным, когда мы обнаруживаем, что главное и все подчиняющее себе чувство, которым живут и мучаются платоновские “самодельные” люди, - это стыд. Просыпаясь к неведомой им прежде “сознательной” жизни, вступая в чертоги нарождающегося “Царства сознания”, они уже ощущают в себе ростки рефлексии, нащупывают загадку “вещества существования”, но еще не способны рассмотреть ни само это “вещество”, ни свое к нему отношение. Отсюда своеобразная убогость, “окороченность”, если воспользоваться платоновским словом, их жития и мирочувствования, заставляющие их заменить одно чувство на другое, ему прямо противоположное. Сознание “самодельных” людей есть особое “вымороченное” сознание, где царствует непомерно разросшийся и потому теряющий свою силу стыд, и где вовсе не слышно смеха. Этот мир, “яростный” и “унылый”, живет в преддверии, ожидании смеха. Он нуждается в нем более чем в каком либо из иных лекарств, ибо нарушенное равновесие - потеря одного полюса этической альтернативы - делает другой мир аморфным и бессмысленным и ведет такой мир к неминуемому самоуничтожению.

…Везде, где мы встречаем смех, рожденный восприятием смешного, и везде, где есть стыд как итог моральной самооценки, можно говорить о выраженной духовности этих феноменов, в каких бы грубых или, напротив, утонченных вариантах они ни представали. История стыда не менее богата и разнообразна, чем история смеха. В ней существовали не только знакомые нам сегодня, но и иные оттенки переживания “греха”, никак не связанные с идеологией прочно вошедшего в нашу культуру христианского мифа. Чувство “родовой” вины, самоосуждения, пусть и самым причудливым образом мотивированного, реально противостояло первобытному хохоту, отголоски которого столь явственно слышатся в “гомерическом”, вернее “олимпийском”, смехе богов, потешающихся над редкостно выразительным уродством хромого на обе ноги Гефеста:

…Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,

Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится…

Телесное в широком смысле, и особенно телесно-производящее, таящее в себе зачатки стыда – вообще излюбленнейший объект архаического смеха: оскорбленный Гефест хочет изобличить неверную жену, “готовя Арею стыд” – западню, и это “тяжкообидное, достойное смеха зрелище” легко вызывает “несказанный” смех всемогущих богов. Такому смеху и соответствовал далекий от утонченности, целиком еще почти связанный с плотскими переживаниями стыд. В “Одиссее” “нестерпимый” телесный стыд, имеющий выраженную военно-эротическую подоплеку, испытывают женихи Пенелопы; развернутая метафора – неудачные попытки женихов натянуть одиссеев лук семантизирует физическую и одновременно этическую несостоятельность их претензий. Стыд как социальный регулятор был настолько значим для греков, что даже дал в культурологии термин “стыд-культура”, предназначенный для описания древнегреческой культуры. И это справедливо не только для нее. История повсеместно объединила смех и стыд в устойчивую этическую пару и дала нам возможность лицезреть быстро развивающееся многообразие оттенков этих чувств, столь между собой не схожих внешне, но в то же время глубоко родственных и живущих по установлениям универсального закона.

Смех не возможен без осознания в мире зла. Он не может существовать как форма культурного поведения в условиях, свободных от негативности. Отрицание для смеха абсолютно, оно всегда превалирует над позитивом, и это видно не только в целостности средневекового “карнавального”, но даже в монолите “первобытного” смеха, где “низ”, “земля”, “могила” дают смех куда чаще, чем “рождение” и “небо”.

То, что так ловко получалось у Чеширского кота из сказки Л.Кэррола, не проходит в “стране реальности”: улыбка, существующая сама по себе, - удел “страны чудес”. Человеку необходимы внешнее или внутренне противодействие, импульс, составляющие ему ощутимую оппозицию. Без этого смех недействителен, он дряхлеет, вырождается в чисто биологический хохот сходит на нет.

В этом смысле в европейском этико-культурном универсуме смех выступает как знак подчеркнуто значимого деяния, имеющего в своих истоках феномен “героического” мироощущения, отозвавшегося и в отношении к смерти у киников, и в судьбе Сократа, и даже в редкостной по своей лаконичности версии-гиперболе, согласно которой Софокл скончался от смеха.

Смех знал подъемы и спады. В одних точках он был слышнее, в других – тише. На смех или же, напротив, на сугубую серьезность или стыд ориентировались целые эпохи и культуры, подобно тому как по-разному готовы к смеху или грусти старики и дети, и просто разные люди. Так, может быть, имеет под собой основание блоковское противопоставление острого галльского смысла сумрачному германскому гению. Так, закономерно насмешливая и одновременно стыдливая юность и молчаливая, отрешенная от мира старость. Смех варвара звучал громче смеха эллина, но зато он уступал ему в разнообразии оттенков…

Многоликость смеха не должна обмануть нас и заставить уйти с наметившегося пути уже в самом начале: тогда энергии поиска не достанет даже на то, чтобы рассмотреть и малую долю грандиозного парада масок смеха, а его истинный облик так и останется неузнанным.

Нет и не было никогда многих видов смеха. На самом деле их всего два, но зато между ними бездна, разделяющая “доисторию” смеха и его сегодняшний день, телесное и духовное, физиологическое и этическое. Единство выражения примиряет эти два полюса, рождая удивительную целостность, лишь на первый взгляд кажущуюся хаосом или бесконечно многообразным набором смеховых “монад”, существующих отдельно и независимо друг от друга.

…Понятно без слов – говорят в тех случаях, когда для понимания достаточно интуиции и контекста. Молчание обретает статус высшей формы коммуникации в иерархии способов общения: знающий молчит, но его молчание красноречивее слов, ибо оно чревато возможными ответами на любой из вопросов.

Однако молчание при всей своей силе все-таки “однобоко”. Оно свидетельствует лишь о мощи разума, иначе, о замкнутой на себя мысли. Оно почти ничего не говорит нам о жизни человеческого чувства. Поэтому, возможно, задумавшийся роденовский молчальник, уткнувшийся подбородком в кулак, назван скульптором не “Человеком”, но “Мыслителем”. Для того чтобы предстать символическим изображением “Человека”, он должен улыбнуться. И тогда, взятые в “тенденции”, символически, две ипостаси человеческого духа – мысль и чувство – воплотятся в многозначном молчании, “освещенном”, как говорили древние, мягкой улыбкой.

Нам знакомо это спокойствие лица и оживляющей его улыбки. Такой бывает первая улыбка младенца. Так улыбается Будда, коры и куросы времен греческой архаики. Так улыбается женщина на самой знаменитой картине Леонардо.

Говорят, о лице незнакомого человека трудно бывает сказать, симпатичное оно или неприятное, до тех пор, пока он не засмеется. Не более чем предположение или даже “предрассудок”, однако что-то истинное здесь угадывается.

Но почему именно смех открывает человека? Отчего именно смех “предает” смеющегося, показывая в нем то, что сам человек пожелал бы скрыть?

Смех предает потому, что исходит не от нас (как мы наивно полагаем), а приходит извне, как принудительная всепобеждающая сила. Смех как особая форма принуждения. Но разве дело только в направлении внешнего усилия? Смех способен не только придавить нас к земле, но и поднять вверх, задержать или вообще отодвинуть в сторону. Смех волен делать с нами все, что пожелает. Он свободен по-настоящему, а мы, смеясь, испытываем лишь иллюзию свободы, спеша назвать в романтическом упоении и смех, и свободу своим достоянием.

Для смеха нет тайн в человеке. Вот почему он так легко открывает и выводит напоказ все то, что человек хотел бы скрыть от других или от самого себя. Смех говорит не только о том, как и над чем человек смеется, но и о том, как он способен страдать или гневаться. В мгновение улыбки мы, кажется, столь же мгновенно прорываемся сквозь все заслоны внешнего, наносного в человеке и притрагиваемся к самой его сути. Смеясь, человек предает себя. Другое дело, что для кого-то это предательство оказывается счастливым: красота души расцвечивает лицо светом улыбки, какую можно обыкновенно увидеть на детских лицах. Вот почему смеха интуитивно боится тот, кто чувствует в себе некий душевный изъян. Иногда встречаются люди, которых вообще трудно помыслить смеющимися. Кажется, если бы они улыбнулись, произошло бы что-то необычное: возможно, они превратились бы в настоящих людей, а может быть, исчезли, будто их и не было никогда на свете.

Д.С.Лихачев по этому поводу говорил, что смех “оглупляет”, “вскрывает”, “разоблачает”, “обнажает”. Причем функция смеха – “раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности, искусственного неравенства, от всей сложной знаковой системы данного общества”. А в “Подростке” Ф.М.Достоевского мы и вовсе обнаруживаем готовую формулу:

“…Если захотите рассмотреть человека и узнать его душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо смеется человек – значит хороший человек. … Смех есть самая верная проба души”.

В заключении хотелось бы привести факт, отражающий скорее жизненно-биологическую, чем философскую сторону смеха.

В историю медицины американский психолог Норман Казинс вошел под именем “человека, рассмешившего смерть”. Около 30 лет назад его поразил редкий недуг – коллагеноз. Врачи практически не оставили ему надежды. И тогда Казинс выписался из больницы, попросил перевести его в гостиницу и принялся одну за другой смотреть кинокомедии. Через несколько дней почти непрерывного смеха его перестали мучить боли, а анализы показали, что воспаление тканей пошло на убыль. Вскоре он настолько оправился от болезни, что смог вернуться к работе. Поэтому

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!